

Международная Библиотека.

№ 9.

---

# В. ШЕКСПИРЪ.

---

Г.

Введение.—Биографія Шекспира.—Его стиль.

---

И. ТЭНА.

---

ОДЕССА.

Тип. Исаковича, уг. Главной и Дерибасовской, с. д. № 1.  
1894.

Дозволено цензурою. Одесса, 15-го декабря 1893 г.

## В. ШЕКСПИРЪ.

### I.

ВВЕДЕНІЕ. — БЮГРАФІЯ ШЕКСПИРА. — ЕГО СТИЛЬ.

Мы стоимъ передъ тѣмъ, кого замѣчаемъ на всѣхъ путяхъ Возрожденія, подобно громадному, возвышающемуся надъ остальными деревьями дубу, у котораго сходятся всѣ лѣсныя дороги. Какъ его обнять? Какъ раскрыть его внутреннее строеніе? Громкія слова, похвалы, — все это для него бесполезно; онъ нуждается не въ томъ, чтобы его хвалили, а чтобы понимали; а понимать его можно только съ помощью науки. Какъ сложныя движенія небесныхъ тѣлъ могутъ быть уяснены только путемъ вычислений высшей математики, какъ нѣжныя метаморфозы растительнаго и животнаго царствъ могутъ быть поняты только черезъ посредство труднѣйшихъ химическихъ формулъ, — такъ великія произведенія искусства поддаются истолкованію только при помощи высшихъ доктринъ психологій; и нужно знать самую глубокую изъ этихъ теорій для того, чтобы проникнуть въ глубь Шекспира, его вѣка и его твореній, его генія и его искусства. Всѣ произведенные до сихъ поръ опыты и всѣ собранныя на-

блюденія надъ душей приводятъ къ заключенію, что мудрость и знаніе въ человѣкѣ—только результаты и случайности. Въ немъ нѣтъ постоянной и отдѣльной силы, которая удерживала-бы его умъ на пути истины и его поведеніе на пути здраваго смысла. Напротивъ, онъ по природѣ безразсуденъ и склоненъ ошибаться. Части его внутренняго механизма похожи на часовыя колеса, которыя сами по себѣ двигаются наудачу, повинуваясь импульсу и тяжести; но иногда, въ извѣстной общей системѣ, показываютъ, въ концѣ-концовъ, дѣйствительный часъ. Это разумное конечное движеніе не естественно, а случайно; оно не произвольно, — а вынуждено; оно не прирождено, — а приобрѣтено. Часы не всегда шли правильно; напротивъ, ихъ приходилось регулировать мало по малу съ большими усиліями. Ихъ правильность не обезпечена: они могутъ ежеминутно испортиться. Ихъ точность тоже несовершенна: они показываютъ время только приблизительно. Механическая сила каждаго колеса всякую минуту готова отвлечь другое колесо отъ его собственной обязанности и разстроить весь порядокъ.

Подобно этому, и идеи, какъ только появились онѣ въ человѣческой головѣ, движутся каждая въ свою сторону; наобумъ; и ихъ неустойчивое равновѣсіе грозитъ каждую минуту разстроиться. Откровенно говоря, человѣкъ по природѣ безуменъ, какъ его тѣло по природѣ болѣзненно; разумъ, какъ и здоровье, есть лишь минутная удача и счаст-

ливая случайность<sup>1)</sup>). Если мы этого не сознаемъ, то потому, что теперь мы урегулированы, утомлены и обезсилены, и потому, что, мало по малу, подъ вліяніемъ тренія и сглаживанія, наше внутреннее движеніе отчасти приспособилось къ движенію внѣшней жизни. Но это такъ только кажется, и опасныя первобытныя силы остаются въ насъ неукрощенными и не подчиненными, несмотря на порядокъ, который, повидимому, сдерживаетъ ихъ. Стоитъ появиться серьезной опасности, стоитъ вспыхнуть какому-нибудь перевороту, чтобы онѣ бурно прорвались наружу, почти такія-же страшныя, какъ и въ первые дни человѣчества. Вѣдь, мысль не простой внутренней знакъ для изображенія извѣстнаго порядка вещей, инертный и всегда готовый стоять въ ряду съ другими, себѣ подобными, чтобъ составлять одно опредѣленное цѣлое. Какъ ни подчинена и ни дисциплинирована она, въ ней есть еще струнка чувствительности, благодаря которой она граничитъ съ галлюцинаціей, извѣстная степень личной неподатливости, благодаря которой она близка къ монманіи, сѣтъ индивидуальных свойствъ, благодаря которымъ она граничитъ съ горячнымъ бредомъ. Не забывайте, что сама по себѣ она есть источникъ кошмара, судороги, нелѣпости. Дайте ей развернуться цѣликомъ, какъ ей хочется<sup>2)</sup>, и вы

<sup>1)</sup> Можно прослѣдить эту мысль и въ психологін: внѣшнее воспріятіе, память,—настоящія галлюцинаціи и т. д. Такова аналитическая точка зрѣнія; съ другой, напротивъ, разумъ и здорье—нормальныя цѣли.

<sup>2)</sup> См. Спиноза и Д. Стюартъ: „Концепція въ своемъ натуральномъ состояніи есть вѣрованіе“.

увидите, что идея, по сущности своей, есть образ дѣятельный и полный, видѣнье, которое влечетъ за собой вереницу сновидѣній и ощущеній, что она разрастается сама собою, внезапно, посредствомъ особой силы размноженія и въ концѣ концовъ овладѣваетъ, потрясаетъ, исчерпываетъ человѣка цѣликомъ. За нею идетъ другая, иногда совсѣмъ противоположная и т. д. Другого ничего нѣтъ въ человѣкѣ, никакой особой и свободной силы; онъ является только комплексомъ этихъ стремительныхъ импульсовъ и этихъ быстро смѣняющихся видѣній; цивилизація ихъ смягчила, ослабила, но не уничтожила; удары, толчки, вспышки, изрѣдка своего рода преходящее полуравновѣсіе—вотъ его настоящая жизнь, жизнь безумца, который иногда притворяется разсудительнымъ, но разсудокъ котораго состоитъ на дѣлѣ „изъ того-же вещества, что и его сны“. Вотъ человѣкъ, какимъ понялъ его Шекспиръ.

Ни одинъ писатель, даже Мольеръ, не проникъ такъ глубоко за призракъ здраваго смысла и логики, въ которые облекается человѣческій механизмъ для того, чтобы противостать животнымъ силамъ, составляющимъ его сущность и его пружины.

Какъ ему это удалось, какимъ необычайнымъ инстинктомъ дошелъ онъ до разгадки крайнихъ выводовъ и глубочайшихъ открытій фізіологіи и психологіи? У него было полное воображеніе: въ этомъ словѣ весь его геній. Слово маленькое, кажущееся пустымъ и вульгарнымъ; рассмотримъ его поближе, чтобъ понять, что въ немъ заключается.

Когда мы, люди обыкновенные, думаемъ о предметѣ, то мы думаемъ только объ одной его сторонѣ. Мы видимъ его внѣшнюю форму, какое-нибудь отдѣльное свойство, иногда два или три свойства вмѣстѣ; для того-же, что внѣ этихъ предѣловъ, для большаго, у насъ не хватаетъ зрѣнія; безконечная сѣть его свойствъ, безпредѣльно разрастающихся и переплетающихся между собою, ускользаетъ отъ насъ; мы смутно сознаемъ, что есть нѣчто, находящееся внѣ нашего знанія, очень узкаго, недалекаго, и это неясное подозрѣніе есть единственная сторона нашей мысли, представляющая намъ хоть немного это великое „внѣ“. Мы похожи на неопытныхъ натуралистовъ, людей смиренныхъ и ограниченныхъ, которые, желая представить себѣ животное, припоминаютъ себѣ его имя и ярлыкъ надъ его клѣткой, вмѣстѣ съ какимъ-то смутнымъ представленіемъ о его шерсти и его наружности; далѣе этого ихъ умъ не идетъ; если имъ случайно вздумается дополнить свои познанія, они, путемъ правильныхъ классификацій, возобновляютъ въ памяти его отдѣльныя особенности и медленно, шагъ за шагомъ, доходятъ до возстановленія въ своемъ умѣ его безжизненной анатоміи. Къ этому сводится ихъ представленіе, даже усовершенствованное. Къ этому чаще всего сводится и наше воспріятіе, даже развитое. Каково разстояніе между этимъ воспріятіемъ и самимъ объектомъ, насколько оно его неполно и несовершенно представляетъ, въ какой степени оно его искажаетъ, какъ мало послѣдовательная мысль, расчле-

непная на регулярно расположенныя и неподвижныя частицы, походить на цѣльный, органическій, живой предметъ, постоянно дѣйствующій и видоизмѣняющійся,—этого нельзя выразить никакимъ словомъ. Вообразите себѣ, что на мѣстѣ этой бѣдной, сухой мысли, опирающейся на жалкую логику землемѣра, находится цѣльный образъ, т.-е. внутреннее изображеніе, столь полное и подробное, что оно исчерпываетъ всѣ свойства и всѣ признаки предмета, все, что въ немъ внутри, и все, что снаружи; что оно исчерпываетъ ихъ въ одно мгновеніе; что оно рисуетъ животное цѣликомъ, его цвѣтъ, игру свѣта на его шерсти, его форму, дрожь его напряженныхъ мускуловъ, блескъ его глазъ, и въ то-же время его страсть, его возбужденіе и его прыжки; затѣмъ, кромѣ того, его инстинкты, ихъ внутренній механизмъ; ихъ прошлое,—и рисуетъ такъ, что сотни тысячъ свойствъ, составляющихъ его существо и природу, находятъ свое отраженіе въ томъ изображеніи, которое ихъ связуетъ воедино. Вотъ воспріятіе художника, поэта, Шекспира, столь превосходящее воспріятіе логика, простаго ученаго или свѣтскаго человѣка, единственно способное проникать въ глубь существа, раскрывать внутренняго человѣка въ человѣкѣ внѣшнемъ, сочувствовать по симпатіи и подражать безъ усилій безпорядочной смѣнѣ человѣческихъ представленій и впечатлѣній, воспроизводить жизнь съ ея безконечными переливами, съ ея кажущимися противорѣчіями, съ ея скрытой логикой, коротко—творить такъ,



какъ творить природа. Такъ поступаютъ и другіе художники той-же эпохи; у нихъ тотъ-же складъ ума и та-же идея о жизни. Въ Шекспирѣ вы найдете тѣ-же способности, только въ большемъ развитіи, и ту-же идею только болѣе рельефную.

---

Я буду описывать натуру необыкновенной геніальности, шокирующую всѣ наши французскія привычки анализа и логики, всемогущую, необычайную, одинаково господствующую въ изображеніи высокаго и низкаго, самую творческую изъ всѣхъ существовавшихъ когда-либо въ изображеніи мельчайшей дѣйствительности, въ ослѣпительныхъ капризахъ фантазіи, глубокихъ сочетаніяхъ сверхчеловѣческихъ страстей, натуру поэтическую, безнравственную, вдохновенную, стоящую выше разума по внезапнымъ подъемамъ своего ясновидящаго безумія, столь крайнюю въ скорби и радости, съ приемами столь рѣзкими, съ вдохновеніемъ столь бурнымъ и стремительнымъ, — что только этотъ великій вѣкъ и могъ создать ее.

### I.

У него все явилось извнутри, я хочу сказать, изъ его души и генія; обстоятельства и внѣшній міръ лишь немного способствовали его развитію\*). Онъ съ головой окунулся въ свой вѣкъ; я хочу этимъ сказать, что онъ по опыту зналъ нравы деревни, двора и города, знакомъ былъ съ верхними,

\*) Гелльюзель. Life of Schakespeare.

средними и нисшими слоями общества—но ничего больше; въ остальномъ жизнь его—обыкновенна, и всѣ неправильности, уклоненія, страсти, успѣхи, которыя въ ней встрѣчаются, почти тѣ-же, какія находишь у всѣхъ\*). Его отецъ, перчаточникъ и торговецъ шерстью, очень зажиточный, женившись на деревенской богачкѣ, сдѣлался старшимъ судьей и первымъ альдерменомъ своего городка; но когда Шекспиръ достигъ 14 лѣтъ, онъ былъ уже по дорогѣ къ раззоренію, заложилъ имущество свой жены, былъ вынужденъ оставить городскую службу и взять своего сына изъ школы въ подмогу себѣ въ торговлѣ. Молодой человѣкъ принялся за дѣло, какъ могъ, хотя не безъ проказъ и шалостей. Если вѣрить преданію, онъ былъ однимъ изъ величайшихъ пьяницъ своего мѣстечка, всегда готовый поддержать честь своего города въ состязаніи бутылкамъ. Однажды, говорятъ, побѣжденный въ Бидфордѣ въ одной изъ такихъ пивныхъ битвъ, онъ вернулся, спотыкаясь, или вѣрнѣе, не могъ вернуться и провелъ ночь со своими пріятелями подъ яблоней у самой дороги. Конечно, онъ начиналъ уже кропать стихи и бродяжничать, какъ истый поэтъ, участвуя въ шумныхъ деревенскихъ праздникахъ, въ веселыхъ аллегорическихъ пастораляхъ, въ обильныхъ и дерзкихъ проявленіяхъ языческой и поэтической жизни, какую мы встрѣчаемъ тогда въ

---

\*) Родился въ 1564, умеръ въ 1616. Передѣлывать пьесы сталъ съ 1591. Первая, цѣликомъ сочиненная имъ пьеса относится къ 1593 (Payne Collier).

англійскихъ деревняхъ. Во всякомъ случаѣ это не былъ человѣкъ умѣренный; въ немъ рано развились страсти; онъ отличался безразсудствомъ. Въ 18 съ половиной лѣтъ онъ женился на дочери простаго йомена, старше его 9 годами, и женился чрезвычайно поспѣшно, потому что она была беременна\*). Другія его безразсудства оканчивались тоже не болѣе счастливо. Повидимому, онъ охотно занимался, по обычаю того времени, браконьерствомъ, „будучи очень способнымъ, — говоритъ священникъ Davies, — ко всякаго рода хитростямъ, и любя ставить западни оленямъ и зайцамъ, особливо во вредъ Томасу Люси, который часто приказывалъ его высѣчь, нѣсколько разъ сажалъ въ тюрьму, и, наконецъ, заставилъ уйти изъ той мѣстности. Шекспиръ жестоко отомстилъ ему, срисовавъ съ него своего глупаго судью“. Прибавьте сюда, что отецъ Шекспира находился въ это время въ тюрьмѣ, что дѣла его были чрезвычайно плохи, что самъ Шекспиръ имѣлъ троихъ дѣтей, одно за другимъ; нужно было жить, а онъ не могъ доставать средства въ своемъ городкѣ. Онъ отправился въ Лондонъ и сдѣлался актеромъ „очень низкаго пошиба“, „театральнымъ служителемъ“, т.-е. ученикомъ, или, можетъ быть, фигурантомъ. Говорятъ даже — что онъ началъ еще хуже и зарабатывалъ хлѣбъ тѣмъ, что стерегъ у

---

\*) Г. Halliwell и др. комментаторы пытаются доказать, что въ тѣ времена предварительный сговоръ былъ, въ сущности, настоящимъ бракомъ; что такой сговоръ былъ, и что, слѣдовательно, не было ничего неприличнаго въ поведеніи Шекспира.

театрального подъязда лошадей джентльменов<sup>1)</sup>. Во всякомъ случаѣ, онъ знакомъ былъ съ нищетою и испыталъ не въ воображеніи, а по опыту острую горечь необезпеченности, униженія, отвращенія къ жизни, труда изъ подъ палки, общественнаго презрѣнія, народнаго деспотизма. Онъ былъ актеръ, одинъ „изъ бѣдныхъ комедіантовъ ея величества<sup>2)</sup>. Печальное ремесло, унижаемое во всѣ времена, благодаря заключающимся въ немъ лжи и контрасту съ дѣйствительностью и еще болѣе униженное въ то время, благодаря грубости толпы, которая не разъ бросала камнями въ актеровъ, и жестокости судей, которые подчасъ приказывали обрѣзать имъ уши. Онъ это чувствовалъ и съ горечью говорилъ объ этомъ. „Увы, совершенно справедливо, что я блуждалъ по волѣ случая и корчилъ изъ себя шута, ломающагося передъ публикой, обливаясь кровью въ душѣ, и продавая низкой цѣной свои самыя дорогія сокровища“. „Обиженный судьбой, униженный въ глазахъ людей, я оплакиваю въ уединеніи гнусность своего существованія: я смотрю на себя, проклиная свою участь, завидуя всякому, болѣе меня богатому надеждами, красотой, друзьями, презирая свои лучшія блага и почти презирая самого себя<sup>3)</sup>“.

<sup>1)</sup> Всѣ эти анекдоты основаны на преданіяхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе сомнительны; прочіе факты достоверны.

<sup>2)</sup> 1589. Выраженіе одного сохранившагося документа. Онъ упоминается вмѣстѣ съ Бербедемъ и Гриномъ.

<sup>3)</sup> Сонетъ 91., т. III, сд. II. Многія изъ словъ Гамлета умѣстилъ въ устахъ автора, чѣмъ принца. Сравните сонетъ: tired with all these.

Позднѣе, слѣды этого сильнаго отвращенія мы найдемъ въ его меланхолическихъ герояхъ, когда онъ будетъ говорить: „И кто-бъ снесъ бичъ и поношенье свѣта, обиды гордыхъ, притѣсненья сильныхъ, законовъ слабость, знатныхъ своевольство, осмѣянной любви муки, злое презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,—когда кинжала лишь одинъ ударъ и онъ свободенъ“. Но самое скверное въ этомъ унижительномъ положеніи, это то, что оно губить душу. Отъ прикосновенія къ скоморохамъ, самъ становишься скоморохомъ; напрасно будешь пытаться обойти грязь, живя на болотѣ,—отъ нея не убережешься; какъ человѣкъ ни станетъ противиться, жизнь сломитъ его и загрязнитъ. Грубость декораций, пестрота и грязь лохмотьевъ и костюмовъ, смрадъ сала и свѣчей, образующіе контрастъ съ показнымъ изяществомъ и величіемъ, всѣ фокусы и грязь истинной сцены, мучительная альтернатива свистковъ и рукоплесканій, знакомство съ самыми высокими и самыми низкими слоями общества, привычка играть человѣческими страстями,—все это быстро выводитъ душу изъ равновѣсія, толкаетъ ее по наклонной плоскости излишествъ, приучаетъ къ непристойнымъ манерамъ, къ закулиснымъ похождениямъ, къ мимолетнымъ интригамъ. Шекспиръ не избѣгъ этого, какъ и Мольеръ; и какъ послѣдній, онъ сокрушался этимъ, обвиняя судьбу въ злости и несправедливости. „Она предоставила мнѣ для жизни только средства простолюдина, а послѣднія порождаютъ и образъ жизни

простолюдина. Внѣ театра онъ проводилъ время съ молодыми аристократами—Пемброкомъ, Соутгемптономъ, Монгомери<sup>1)</sup> и другими; ихъ пылкая и необузданная молодость щекотала его воображеніе и чувства примѣромъ итальянскихъ наслажденій и итальянскаго изящества. Присоедините къ этому горячность и страстность поэтической природы и тотъ потокъ и кипѣніе всѣхъ силъ и всѣхъ желаній, который рождается въ этого рода головахъ, когда міръ впервые открывается передъ ними—и вы поймете „Адониса“ „первенца его творчества“. Въ самомъ дѣлѣ, это первый крикъ и въ этомъ крикѣ высказался весь человѣкъ. Никогда еще не видано было такое сердце, столь трепещущее отъ прикосновенія красоты и всякой красоты, столь восхищающееся свѣжестью и блескомъ предметовъ, столь страстное и нѣжное въ обожаніи и наслажденіи, такъ сильно и стремительно погружающееся во всю глубь страсти. Его Венера—единственна въ своемъ родѣ; у Тиціана<sup>2)</sup> нѣтъ ни одной картины съ болѣе блестящимъ и восхитительнымъ колоритомъ; у Тинторета и Джіорджіоне нѣтъ ни одной богини-куртизанки, которая была-бы нѣжнѣе и прекраснѣе, жадныя губы которой такъ изводили-бы среди цѣлуевъ, которая съ болѣе сильной дрожью обвинялась-бы руками вокругъ тѣла уступающаго юноши, то блѣдная и задыхающаяся, то красная и пылаю-

<sup>1)</sup> Графу Соутгемптонъ было 19 лѣтъ, когда Шекспиръ посвятилъ ему своего „Адониса“.

<sup>2)</sup> См. Похожденія боговъ въ замкѣ Бленгеймъ, Тиціана.

щая, какъ уголь, распаленная, раздраженная, то внезапно падающая на колѣни, вся въ слезахъ и въ забытїи; то затѣмъ внезапно поднимающаяся, прильнувшая къ его губамъ, заглушающая его упреки, жадная, „ненасытная, какъ коршунъ“, который пожираетъ и пожираетъ, и всегда хочетъ ѣсть, и никогда не насыщается. Тутъ все захватывается: чувства, глаза, ослѣпленные бѣлизной трепещущаго тѣла, но также и сердце, изъ котораго ключомъ бьетъ поэзія; избытокъ молодости изливается даже на неодушевленные предметы: лучъ улыбаются просыпающемуся дню; воздухъ, пропитанный свѣтомъ, кажется праздничнымъ. „Жаворонокъ поднимается изъ своего влажнаго гнѣзда на воздухъ и будить утро; изъ серебристаго лона зари встаетъ солнце во всемъ его величїи, и его взоръ такъ ослѣпительно озаряетъ мїръ, что верхушки кедровъ и холмовъ кажутся яркимъ золотомъ“. Поразительна здѣсь разнузданность воображенія и вдохновенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ, она и пугаетъ, потому что подобный темпераментъ можетъ далеко завести<sup>1)</sup>. Въ Лондонѣ не было такой свѣтской женщины, у которой на столѣ не лежалъ-бы „Адонисъ“<sup>2)</sup>. Можетъ быть, Шекспиръ самъ замѣтилъ, что зашелъ далеко, потому что направленіе второй поэмы его, „Лукреція“—совершенно противоположное; но хотя онъ обладалъ умомъ достаточно уже широкимъ,

<sup>1)</sup> Сравните первые стихи А. де-Мюссе—Contes d'Italie et d'Espagne.

<sup>2)</sup> Кроулей, цитируемый Шалемъ Etudes sur Shakespeare

чтобы охватить сразу (какъ позже въ своихъ драмахъ), обѣ крайнія стороны вещей, онъ все-же продолжалъ скользить по наклонной плоскости. „Сладкій плѣнь любви“ игралъ огромную роль въ его жизни; онъ былъ нѣженъ и былъ поэтъ: а больше ничего и не требуется, чтобы увлекаться, быть обманутымъ, страдать и пробѣжать безъ отдыха весь кругъ иллюзіи и страданій, которыя постоянно и бесконечно повторяются.

У него было нѣсколько подобныхъ страстишекъ, и между ними одна къ своего рода Маріонъ Делормъ; страсть несчастная, слѣпая, деспотическая, гнетъ и позоръ которой онъ самъ чувствовалъ и отъ которой все-таки не могъ и не хотѣлъ освободиться. Нѣтъ ничего грустнѣе его признанія, ничего болѣе характеризующаго безуміе любви и чувство человѣческой слабости. „Когда моя возлюбленная клянется, что ея любовь истинна, я ей вѣрю, хотя знаю, что она лжетъ“. Такъ поступалъ и Альцестъ съ Селименой—но что за грязная Селимена, эта развратница, предъ которой онъ преклоняетъ колѣни съ такимъ-же презрѣніемъ, какъ и любовью! „Эти уста, эти уста, запятнавшія свой пурпуръ и такъ-же часто закрѣплявшія лобзаніями ложныя клятвы въ любви къ другимъ, какъ и ко мнѣ; эти уста, похищавшія у ложа другого свою долю наслажденія!“ Вотъ откровенность и безстыдство души, которыя встрѣчаются только въ альковахъ куртизанокъ, и вотъ опьяненіе, развратъ и бредъ, въ который впадаютъ самые изящные ху-



дожники, когда они вкладывают свою благородную руку въ эти мягкія, страстные и увлекающія руки. Они стѣять больше принцевъ, и спускаются, межъ тѣмъ, до уличныхъ женщинъ! Добро и зло теряетъ для нихъ свое различіе. Всѣ предметы перепутываются: „какимъ соблазнительнымъ и мѣлымъ дѣлаешь ты позоръ, который, какъ червь въ душистой розѣ—мараешь красоту твоего цвѣтущаго имени!... Какою сладостью окутываешь ты свои пороки! Покровъ красоты, прикрываетъ твою грязь и превращаетъ въ прелесть все, что доступно глазамъ. Изъ своихъ недостатковъ ты создаешь кортежъ грацій. Языкъ, повѣствующій о твоихъ дѣяніяхъ и сладострастно комментирующій твои пороки, къ самымъ упрекамъ своимъ невольно присоединяетъ похвалы. Стоитъ произнести твое имя—и злословіе превращается въ благословеніе“. Къ чему служить очевидность, воля, разумъ, даже честь, если страсть такъ всепоглощающа? Что-же еще можно сказать человѣку, который отвѣчаетъ: „я знаю все это, и это для меня ничего не значитъ“. Сильная любовь, точно потопъ, затопляетъ всякое отвращеніе и деликатность души, всѣ выработанныя убѣжденія и усвоенные принципы. Отнынѣ сердце умерло для всѣхъ обыкновенныхъ удовольствій; оно можетъ чувствовать и жить только одной стороною. Шекспиръ завидуетъ клавицамъ инструмента, по которымъ бѣгаютъ ея пальцы. Напрасно смотритъ онъ на цвѣты: въ нихъ онъ видитъ ее; и безумныя искры ослѣпительной поэзіи вспыхиваютъ въ немъ, какъ

только онъ подумаетъ объ этихъ черныхъ блестящихъ глазахъ. (Она была брюнетка, не хороша, не молода и пользовалась дурной славой). Онъ покинулъ ее весной, „когда роскошный апрѣль во всемъ своемъ великолѣпнн вдыхалъ юность во все живое, когда неповоротливый Сатурнъ смѣялся и скакалъ рядомъ съ весной. Онъ ничего не видѣлъ, онъ не „восторгался бѣлизною лилій, не воспѣвалъ яркаго румянца розы“. Все это благоуханіе весны было лишь ея отблескомъ, ея тѣнью. „Я сказала фіалкѣ: свое благовоніе ты похитила въ дыханіи моей возлюбленной. Твоя атласная щека блещетъ чуднымъ пурпуромъ, потому что ты окунула ее въ кровь моей возлюбленной. Я сердился на лилію за то, что она взяла себѣ бѣлизну твоей руки, и на гвоздику за то, что она похитила краску съ волосъ твоихъ. Робкія розы сидѣли на своихъ стебелькахъ; одна красная отъ стыда, другая блѣдная отъ отчаянія; третья, ни красная, ни блѣдная, присоединившая еще твое благоуханіе къ своей двойной кражѣ. Я видѣлъ еще много и другихъ цвѣтовъ, но не видѣлъ ни одного, который не заимствовалъ-бы у тебя своего цвѣта или аромата“. Это страстное возбужденіе, чудная аффектація, достойная Гейне и современниковъ Данте, указываетъ на долгіе плѣнительные сны, безпрестанно возвращающіеся къ одному и тому-же предмету. Какое чувство стоитъ противъ столь могущественнаго и продолжительнаго владычества? Любовь къ семьѣ? Онъ былъ женатъ, имѣлъ дѣтей, семью, которую навѣщалъ „разъ въ годъ“;

и эти слова, что мы только что слышали, сказаны вѣроятно по возвращеніи изъ подобной экскурсіи. «Совѣсть? „Любовь слишкомъ молода, чтобы имѣть понятіе о совѣсти“. Ревность и гнѣвъ? „Если ты мнѣ измѣняешь, то и я самъ измѣняю себѣ, когда отдаю благороднѣйшую часть самого себя своему грубому желанію“. Отвращеніе? „Я счастливъ быть твоей игрушкой, исполнять твои приказанія, исправлять на тебя барщину“. Онъ уже не молодъ, она любитъ другого, красиваго юношу, его лучшаго друга, котораго онъ представилъ ей и котораго она хочетъ соблазнить. „Мой демонъ искушаетъ моего ангела и намѣренъ отвлечь его отъ меня“. И когда она добивается своего, онъ не смѣетъ сознаться себѣ въ этомъ и переноситъ все, какъ Мольеръ. Сколько несчастій въ этихъ мелкихъ явленіяхъ быстро бѣгущей жизни! Невольно хочется поставить рядомъ съ Шекспиромъ нашего великаго несчастнаго поэта, тоже—философа по инстинкту, но кромѣ того, еще шутника по ремеслу, издѣвавшагося надъ страстными стариками, неумолимаго бича обманутыхъ мужей; и Мольеръ, по выходѣ изъ театра, гдѣ шла его популярнѣйшая трагедія, сказалъ вслухъ кому-то: „мой другъ, я въ отчаяніи: моя жена меня не любитъ!“ Ни слава, ни трудъ, ни вдохновеніе не удовлетворяютъ эти пылкія сердца; только любовь можетъ ихъ успокоить, потому что она вмѣстѣ съ ихъ чувствами и сердцемъ, удовлетворяетъ ихъ умъ, и потому что въ ней концентрируются и захватываются всѣ силы человѣка, его

вдохновеніе и все остальное. „Любовь-мой грѣхъ“ (Love is my sin, 142 сонетъ), говоритъ Шекспиръ, какъ Мюссе и какъ Гейне, и въ сонетахъ его можно подмѣтить слѣды и другихъ страстей, столь-же сильныхъ, особенно-же одной привязанности, кажется, къ какой-то знатной дамѣ. Первая половина его драмъ: „Сонъ въ лѣтнюю ночь“, „Ромео и Джульета“, „Два веронца“ ясніѣе носятъ на себѣ отпечатокъ этой пылкости и достаточно присмотрѣться къ его послѣднимъ женскимъ характерамъ, чтобъ увидѣть, съ какой нѣжностью, съ какимъ обожаніемъ любилъ онъ ихъ до конца.

Въ этомъ сказался весь его геній. У него была одна изъ тѣхъ деликатныхъ натуръ, которая, подобно безукоризненному музыкальному инструменту, вибрируютъ при малѣйшемъ прикосновеніи. Эта тонкая чувствительность прежде всего обращала на себя вниманіе. „Мой привѣтливый Шекспиръ“, „сладкій лебедь Авона“, эти слова Бенъ-Джонсона повторяютъ только то, что говорили современники. Онъ былъ нѣженъ и добръ, обладалъ изящными манерами и, кромѣ того, былъ благороденъ и честенъ въ своемъ поведеніи“, нрава открытаго и свободнаго“\*). Если онъ и увлекался, то за то у него была откровенная натура настоящаго художника; его любили, любили его общество. Нѣтъ ничего болѣе подкупающаго, чѣмъ эта грація, эта

---

\*) Свидѣтельство Джонсона и Читтля „Melliferous, honey-tongued“. См. Гелльюзаль. 183.

полуженская небрежность въ мужчинѣ. Его умъ въ разговорѣ былъ живъ, находчивъ и гибокъ, его веселость блестяща, его воображеніе быстро и такъ богато; что, по словамъ его друзей, онъ писалъ безъ помарокъ: по крайней мѣрѣ, переписывая во второй разъ какую-нибудь сцену, онъ мѣнялъ не слова, а идею, подъ вліяніемъ новаго вдохновенія, а не путемъ мучительной передѣлки стиховъ. Всѣ эти черты сводятся къ одной: у него былъ симпатическій гений: я разумью подъ этимъ то, что онъ умѣлъ совершенно свободно отрѣшаться отъ себя и воплощаться во всѣ предметы, которые изображалъ. Посмотрите вокругъ себя на великихъ художниковъ нашего времени, попробуйте подойти къ нимъ поближе, войти въ ихъ внутреннюю жизнь, изучить ихъ мысли, и вы почувствуете всю силу этого слова. По какому-то необыкновенному инстинкту они ставятъ себя однимъ движеніемъ на мѣсто людей, животныхъ, растеній, цвѣтовъ, пейзажей. Каковы-бы ни были эти предметы, одушевленные или нѣтъ, они чувствуютъ посредствомъ передачи силъ и стремленій видимую природу, и ихъ душа, бесконечно сложная, превращается отъ бесконечныхъ метаморфозъ въ своего рода микрокосмъ.

Вотъ почему кажется, что они живутъ болѣе другихъ людей; имъ не нужно учиться; они угадываютъ. Я видѣлъ среди нихъ такихъ, которые, по оружію, по костюму, по обстановкѣ, проникали въ духъ среднихъ вѣковъ гораздо глубже, чѣмъ трое изучившихъ ихъ ученыхъ вмѣстѣ. Они воспроизво-

дятъ такъ, какъ производятъ естественно, увѣренно, по вдохновенію, которое является у нихъ о крыленымъ разсудкомъ. Шекспиръ получилъ только полуобразование: „зналъ мало по латыни и ничего не зналъ по гречески“, отчасти по французски и итальянски;—и больше ничего. Онъ никогда не путешествовалъ, онъ читалъ только книги по текущей литературѣ, онъ усвоилъ себѣ нѣсколько юридическихъ терминовъ въ канцеляріяхъ своего городка. А попробуйте сосчитать, если съумѣете, сколько зналъ онъ о человѣкѣ и исторіи. Эти люди видятъ сразу много вещей, они охватываютъ ихъ полнѣе, чѣмъ другіе люди, быстрѣе и глубже; ихъ языкъ разливается, какъ потокъ, и переходитъ черезъ край. Они не держатся исключительно одного разсудка; отъ соприкосновенія къ идеѣ все ихъ существо,—мысль, фантазія, страсть,—приходятъ въ движеніе. Вотъ они начали творить: они жестикулируютъ, воплощаютъ мысль свою въ мимикѣ, сыплютъ сравненіями; даже въ обыкновенномъ разговорѣ они фантазируютъ и творятъ, употребляютъ обороты оригинальные и смѣлые, иногда удачные, но всегда неправильные, цѣликомъ повинуются капризамъ и порывамъ случайной импровизаціи. Строй и блескъ ихъ рѣчи такъ-же странны, какъ и тѣ неровности и скачки, которыми они соединяютъ самыя противоположныя идеи, уничтожаютъ разстоянія, переходятъ отъ патетическаго къ смѣшному, отъ рѣзкости къ нѣжности. Это необыкновенное вдохновеніе—покидаетъ ихъ послѣднимъ.

Если случайно у нихъ не хватаетъ идей или обостряется ихъ меланхолія, они все еще говорятъ и творятъ, хотя-бы фарсъ; они превращаются въ клоуновъ даже во вредъ себѣ и противъ своей воли. Я зналъ одного художника, который говорилъ каламбуры, когда чувствовалъ приближеніе смерти или готовился покончить съ собой самоубійствомъ. Это—внутреннее колесо, вертящееся даже тогда, когда нечего размалывать, колесо, которое человѣкъ долженъ видѣть вертящимся, даже если оно по дорогѣ размалываетъ и его самого. Его гаерство—непроизвольно. Вы встрѣтите этого нестоимаго проказника, этого насмѣшливаго полншинеля у гроба Офеліи, у смертнаго одра Клеонатры, на похоронахъ Джульетты. На высотѣ или въ грязи,—они всегда необходимо впадаютъ въ крайности. Они слишкомъ глубоко чувствуютъ счастье и горе; они придаютъ видъ романа широкимъ размѣровъ каждому движенію своей души. Вслѣдъ за уничтоженіемъ и отчаяніемъ, которымъ они предаются и въ которыя погружаются ниже всякой мѣры, они вдругъ возносятся и воспаляются гордостью или радостью до трепета. Иногда послѣ взрыва такого отчаянія, говоритъ Шекспиръ, „я думаю о тебѣ и душа моя летитъ къ небу и поетъ гимны, подобно жаворонку, который, при пробужденіи солнца, стремится прочь отъ мрачныхъ полей. Затѣмъ все гаснетъ, какъ въ очагѣ, гдѣ слишкомъ сильный огонь уничтожилъ весь горючій матеріалъ. Я похожъ на то время года, когда желтѣющіе и опадающіе листья

свѣшиваются съ дрожащихъ вѣтвей, когда верхушки деревьевъ, гдѣ недавно еще пѣли птицы, становятся голыми и безжизненными. Я похожъ на отжившій день, который исчезаетъ съ заходомъ солнца гдѣ-то на западѣ, уступая понемногу мѣсто ночи, черной ночи, близнецу смерти, все покрывающей покоемъ.... Не плачь обо мнѣ, когда я умру; по крайней мѣрѣ, перестань плакать тогда, когда прекратитъ свой печальный звонъ угрюмый колоколь, возвѣщавшій міру о моемъ удаленіи изъ этого гнуснаго міра къ гнуснѣйшимъ изъ червей. Не вспоминайте при чтеніи этихъ строкъ о той рукѣ, которая ихъ написала; я такъ люблю васъ, что хотѣлъ-бы исчезнуть изъ вашей дорогой памяти, если воспоминаніе обо мнѣ причиняетъ вамъ хоть малѣйшую боль“. Эти мгновенныя смѣны радости и печали, это божественное очарованіе, эта глубокая меланхолія, эта тонкая нѣжность и эти женскія слабости рисуютъ намъ поэта, крайняго въ своихъ движеніяхъ, безпрестанно волнуемаго то радостью, то печалью, чувствительнаго къ малѣйшему толчку, тоньше другихъ чувствующаго удовольствіе и страданіе, видящаго болѣе частые и сладкіе сны, создающаго себѣ цѣлый воображаемый міръ существъ болѣе граціозныхъ или ужасныхъ, страстныхъ, какъ и самъ ихъ авторъ.

Но при всемъ томъ онъ, однако, остепенился. Рано уже, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ внѣшнему поведенію, онъ вошелъ въ колею уравновѣшенной, урегулированной жизни, жиз-



ни разсудительной и почти буржуазной, сталъ заниматься дѣлами и откладывать деньги на черный день. Онъ оставался актеромъ по крайней мѣрѣ семнадцать лѣтъ, хотя и на вторыя роли<sup>1)</sup>; въ то же время онъ занимался передѣлкою пьесъ и ухитрялся дѣлать это съ такой быстротою, что Гринъ называлъ его „вороной въ павлиньихъ перьяхъ, фактотумомъ, театральнымъ барышникомъ<sup>2)</sup>“. Благодаря сбереженіямъ, ему удалось, тридцати трехъ лѣтъ отъ роду, купить въ Стратфордѣ домъ съ двумя амбарами и двумя садами и онъ продолжалъ подвигаться впередъ по этой дорогѣ. Человѣкъ достигаетъ личнымъ трудомъ только благосостоянія; богатства же онъ добивается тогда, когда заставляетъ другихъ работать на себя. Вотъ почему къ своимъ ремесламъ актера и автора Шекспиръ присоединилъ ремесло атрепренера и директора театра. Онъ приобрѣлъ пай въ театрѣ блакфрiерскомъ и Globe; онъ покупалъ контракты на десятину, большіе участки земли, нѣскольکو домовъ, выдалъ замужъ дочь Сюзанну и, наконецъ, удалился на родину въ свое имѣніе, въ свой домъ, добрымъ помѣщикомъ и почтеннымъ гражданиномъ, который благоразумно управляетъ своимъ имуществомъ и принимаетъ участіе въ городскихъ дѣлахъ. Онъ имѣлъ отъ двухсотъ до трехсотъ фунтовъ стерлинговъ дохода—20—30,000 франковъ на наши деньги и, по преданію, жилъ

<sup>1)</sup> Лучшая его роль была—роль привидѣнія въ Гамлетѣ.

<sup>2)</sup> In his own con ceit the only shake-scene in the country-

въ большомъ ладу и согласіи съ своими сосѣдями. О своей славѣ онъ, повидимому, не беспокоился, потому что не позаботился даже собрать и издать свои произведенія. Одна изъ его дочерей вышла за медика, другая—за виноторговца; послѣдняя не умѣла даже подписываться. Онъ ссужалъ деньги и игралъ видную роль въ этомъ міркѣ. Странный конецъ, болѣе приличный, на первый взглядъ, купцу, чѣмъ поэту. Нужно-ли приписать это англійскому инстинкту, который видитъ все счастье въ жизни деревенскаго помѣщика съ хорошей рентой, играющаго роль, наслаждающагося комфортомъ, пользующагося солидной репутаціей респектабельности, семейнымъ авторитетомъ и общественнымъ положеніемъ? Или, быть можетъ, Шекспиръ, какъ и Вольтеръ, былъ человѣкъ здраваго смысла, хоть и фантазеръ, оставался холоденъ даже въ минуту вдохновенія, былъ благоразуменъ изъ скептицизма, экономенъ изъ-за независимости и способенъ, совершивъ весь кругъ человѣческихъ идей, рѣшить вмѣстѣ съ Кандидомъ, что лучшая доля—это „воздѣлывать свой садъ“? Я скорѣе склоненъ думать, глядя на его круглую и солидную голову<sup>1)</sup>, что онъ, въ силу бурнаго воображенія, избѣгнулъ, какъ Гёте, опасностей бурнаго воображенія; что, изображая страсть, онъ, какъ Гете, тѣмъ самымъ ослабилъ страсть въ себѣ; что броженіе его души не вызвало взрыва въ его поведеніи, потому что оно нашло выходъ въ его стихахъ; что его театръ сберегъ его

<sup>1)</sup> См. его портретъ и особенно его бюстъ.

жизнь; что пройдя, путемъ симпатіи, всѣ безумства и всѣ несчастья человѣческой жизни, онъ могъ держаться среди нихъ со спокойной и меланхолической улыбкой, слушая, для развлеченія отъ нихъ, воздушную музыку фантазій, которыя самъ разыгрывалъ\*). Затѣмъ я думаю, что по своему организму, какъ и по всему прочему, онъ принадлежалъ своему великому народу и своей великой эпохѣ, что въ немъ, какъ въ Рабле, Тиціанѣ, Микель-Анджело и Рубенсѣ, прочность мускуловъ служила противовѣсомъ чувствительному сердцу; что въ то время человѣческой организмъ, крѣпче построенный и сильнѣе закаленный, былъ въ силахъ сопротивляться бурямъ страсти и необузданнымъ порывамъ; что душа и тѣло уравнивали еще другъ друга, что гений былъ въ то время разцвѣтомъ, а не болѣзнью, какъ теперь. Обо всемъ этомъ мы можемъ строить только догадки; если-же мы хотимъ узнать человѣка ближе, то мы должны искать его въ его произведеніяхъ.

## II.

Поищемъ-же человѣка, и въ его слогѣ. Слогъ объясняетъ произведеніе; указывая на главныя черты гения, онъ возвѣщаетъ о другихъ. Разъ только усвоена главная способность, весь художникъ раскрывается предъ нами какъ цвѣтокъ.

Шекспиръ обладаетъ воображеніемъ изобильнымъ и чрезмѣрнымъ. • Онъ разсыпаетъ метафоры.

---

\*) См. въ особенности его посл. пьесы, „Буря“, „12-я ночь“.

съ расточительностью во всемъ, что онъ пишетъ; ежеминутно отвлеченныя идеи воплощаются у него въ образы; это серія картинъ, развертывающаяся въ его умѣ. Онъ ихъ не ищетъ, онѣ сами приходятъ къ нему; онѣ тѣснятся въ немъ, онѣ покрываютъ разсужденія; онѣ затемняютъ своимъ блескомъ чистый свѣточъ логики. Онъ не старается объяснять или доказывать; картина за картиной, образъ за образомъ, копируетъ онъ безпрестанно странныя и блестящія видѣнія, порождающія одно другое и громоздящіяся въ его мозгу. Сравните съ трезвымъ языкомъ нашихъ писателей слѣдующее мѣсто, которое я случайно выбираю изъ спокойнаго діалога (Гамлетъ III, сц. IV.).

Простой и частный человѣкъ обязанъ  
 Стоять за жизньъ всей силою души;  
 Тѣмъ больше духъ, отъ блага коего  
 Зависитъ жизнь и счастье столь многихъ.  
 Монархъ не можетъ умереть одинъ:  
 Въ свое паденіе онъ увлекаетъ  
 Все близкое, какъ горный водопадъ.  
 Онъ—колесо гигантскаго размѣра,  
 Стоящее на высотѣ горы;  
 И тысячи вещей прикрѣплены  
 Къ его огромнымъ и могучимъ спицамъ.  
 Падетъ оно—ужасное паденіе,  
 Раздѣлять съ нимъ всѣ вещи мелочныя.  
 Еще монархъ ни разу не вздыхалъ,  
 Чтобы народъ съ нимъ вмѣстѣ не страдалъ.

Три образа слѣдуютъ одинъ за другимъ для выраженія одной и той-же мысли. Таковъ ростъ дерева: изъ ствола выходитъ вѣтвь, изъ вѣтви—

другая, которая въ свою очередь развѣтвляется въ новые сучья. вмѣсто одной дороги, уставленной рядомъ сухихъ и правильно расположенныхъ вѣхъ, вы входите въ густой лѣсъ, гдѣ сплетающіяся деревья и частые кустарники скрываютъ отъ васъ и преграждаютъ дорогу, восхищаютъ и ослѣпляютъ глаза великолѣпіемъ своей листвы и роскошью своихъ цвѣтовъ. Въ первую минуту вы удивлены, вы, человѣкъ современный, дѣловой, привыкшій къ изящнымъ рѣчамъ нашей классической поэзіи; вы недовольны, вамъ кажется, что авторъ забавляется, и что, изъ самолюбія и дурнаго вкуса, онъ завелъ и себя и васъ въ глушь своего сада. Ничуть не бывало: если онъ такъ говорилъ, то не по выбору, а по необходимости; метафора не капризъ его воли, а форма его мысли. Даже въ самомъ разгарѣ страсти его воображеніе работаетъ. Когда Гамлетъ въ отчаяніи припоминаетъ благородную фигуру своего отца, онъ замѣчаетъ міѳологическія фигуры, которыми вкусъ того времени наполнялъ улицы. Онъ сравниваетъ его съ вѣстникомъ Меркуріемъ, „когда на горъ заоблачныя выси слетаетъ онъ съ небесъ“. Этотъ прелестный образъ среди кроваваго упрека доказываетъ, что подъ поэтомъ скрытъ художникъ. Невольно и совершенно некстати онъ срываетъ трагическую маску, покрывавшую его лицо, и читатель за искривленными чертами этой ужасной маски открываетъ граціозную и вдохновенную улыбку, которой онъ не ожидалъ. Подобное воображеніе не можетъ не быть стремитель-

но. Всякая метафора есть порывъ. Всякій, кто произвольно и естественно воплощаетъ сухую идею въ образъ, имѣетъ пламя въ мозгу. Истинныя метафоры это—мгновенно вспыхнувшее пламя, озаряющее однимъ блескомъ всю картину. Я думаю, столь великой страсти еще не было видно ни у одного европейскаго народа, ни въ одну эпоху. Слогъ Шекспира—это совокупность неистовыхъ выраженій. Ни одинъ человѣкъ не подвергалъ словъ подобной пытки. Сталкивающіеся контрасты, бѣшенныя преувеличенія, язвительныя обращенія, восклицанія, все неистовство оды, безпорядокъ идей, нагроможденіе образовъ, ужасное и божественное рядомъ—кажется, будто онъ слова не пишетъ безъ крика. „Что я сдѣлала?“ спрашиваетъ королева у сына.

„Ты запятнала

Стыдливый цвѣтъ душевной чистоты,  
 Ты назвала измѣной добродѣтель;  
 Съ чела любви ты розы сорвала,  
 И вмѣсто ихъ невинной красоты  
 Цвѣтетъ болѣзнь; въ твоихъ устахъ, о мать,  
 Обѣтъ при брачномъ алтарѣ сталъ ложенъ,  
 Какъ клятва игрока! О, твой поступокъ  
 Исторгъ весь духъ изъ брачнаго обряда,  
 Въ пустыхъ словахъ излилъ всю сладость вѣры!  
 Горитъ чело небесъ, земли твердыня  
 При мрачной думѣ о твоихъ дѣлахъ,  
 Грустна, какъ день передъ судомъ послѣднимъ!

Это слогъ бѣшенства. И тутъ онъ еще не вполне переданъ. Всѣ эти метафоры неистовы, всѣ эти идеи находятся на границѣ абсурда. Все видоизмѣ-

няется и искажается от урагана страсти. Прикосновение преступления, о котором онъ возвѣщаетъ, запятнало всю природу. Онъ не видитъ въ мірѣ ничего, кромѣ порока и лжи. Унижены не только добродѣтельные люди, унижена сама добродѣтель. Неодушевленные предметы тоже вовлечены въ этотъ водоворотъ горя. Красный цвѣтъ неба при закатѣ солнца, блѣдная темнота, которую ночь разливаетъ надъ мѣстностью, превращается въ краску и блѣдность стыда, и несчастный человѣкъ, жалующійся и плачущій, видитъ весь свѣтъ погруженнымъ вмѣстѣ съ нимъ въ пучину отчаянія.

Но мнѣ скажутъ, что Гамлетъ полупомѣшанный и этимъ объяснятъ такія бурныя выраженія. Суть въ томъ, что Гамлетъ здѣсь—это самъ Шекспиръ. Какъ-бы ни было ужасно или спокойно положеніе, о чемъ бы ни шло дѣло, объ оскорбленіи или разговорѣ—слогъ его повсюду полонъ крайностей. Шекспиръ никогда не наблюдаетъ предметов спокойно. Всѣ силы его ума сосредоточиваются на данномъ образѣ или идеѣ. Онъ весь ею проникается и переполняется. Рядомъ съ этимъ гениемъ чувствуешь себя, какъ на краю пропасти; бушующій потокъ низвергается туда, захватывая всѣ предметы, попадающіеся ему по дорогѣ, и возвращаетъ ихъ на поверхность уже измѣненными и искаженными. Пораженный останавливаешься предъ этими судорожными метафорами, которыя кажутся написанными лихорадочной рукой во время ночнаго бреда, которыя заключаютъ въ полужразѣ цѣлую

страницу идей и картинъ, которыя рѣжутъ взоръ, желая его освѣтить. Слова теряютъ свое значеніе, конструкціи разбиваются; парадоксы языка, очевидныя неправильности, которыя только изрѣдка осмѣливаешься употребить въ минуту вдохновенія, у Шекспира превращаются въ обычный языкъ; онъ ослѣпляетъ, возмущаетъ, ужасаетъ, отталкиваетъ, подавляетъ; его стихи—это высокая величественная пѣснь, написанная въ слишкомъ высокомъ тонѣ, непосильная для нашего слуха, причиняющая ему боль,—и только одинъ разумъ способенъ угадывать ея правду и красоту.

Это еще не все—ибо рѣдкая сила сосредоточенія усугубляется здѣсь еще рѣзкостью порыва, приводящаго его въ движеніе. Шекспиръ не знаетъ никакой подготовки, никакой предосторожности, никакого развитія, никакого старанія сдѣлать себя понятнымъ. Какъ слишкомъ горячій и сильный конь, онъ скачетъ, но не умѣетъ бѣгать. Онъ двумя словами перескакиваетъ черезъ громадныя разстоянія, и въ одно мгновеніе оказывается на двухъ противоположныхъ концахъ міра. Читатель, пораженный этими чудовищными скачками, ищетъ глазами промежуточной дороги, спрашивая себя, какимъ чудомъ поэтъ перешелъ отъ одной идеи къ другой, и только иногда удается ему подмѣтить между двумя образами длинную лѣстницу переходовъ, по которой онъ едва-едва взбирается; тогда какъ поэтъ перескочилъ черезъ нее однимъ прыжкомъ. Шекспиръ летаетъ, а мы ползаемъ. Отсюда



слогъ, составленный изъ странныхъ оборотовъ, смѣлыхъ образовъ, смѣняющихся мгновенно образами еще болѣе смѣлыми, идей, едва намѣченныхъ и законченныхъ другими, отстоящими отъ нихъ на сотни верстъ; нѣтъ тутъ никакой видимой послѣдовательности, а есть нѣчто нескладное; на каждомъ шагу приходится останавливаться, потому что дорога исчезаетъ изъ подъ ногъ; вверху, далеко отъ себя, замѣчаешь поэта, и тогда открываешь, что по его слѣдамъ зашелъ въ утесистую страну, покрытую пропастями, которую поэтъ пробѣгаетъ, какъ гладкую дорогу, и гдѣ величайшія усилія еле-эле помогаютъ намъ пробираться.

Что-же будетъ, если мы замѣтимъ еще, что эти, столь стремительныя и неожиданныя выраженія, вмѣсто того, чтобы слѣдовать одно за другимъ медленно и постепенно, низвергаются массами со всеувлекающей легкостью и обиліемъ, подобно тому, какъ волны, съ шумомъ вытекающія изъ переполненной рѣки, вздымаются, лѣзутъ другъ на друга, и нигдѣ не находятъ достаточно мѣста, чтобы помѣститься и успокоиться? Въ „Ромео и Джульеттѣ“ вы найдете десятки примѣровъ этого неизсякаемаго вдохновенія. Метафоры, страстныя преувеличенія, мѣткія слова, замысловатыя выраженія, любовныя возгласы сыплются обоими любовниками безъ конца. Ихъ языкъ подобенъ трелямъ соловья. У шекспировскихъ остроумцевъ — Меркуціо, Беатриче, Розалинды, клоуновъ, шутовъ, — остроты сыплятся, какъ ружейная канонада. Между ними нѣтъ

ни одного, который не съумѣлъ-бы надѣлать весь театр своими остротами. Проклятій короля Лира и королевы Маргариты хватило-бы на всѣхъ сумасшедшихъ любаго госпиталя и на всѣхъ угнетенныхъ всего свѣта. Его сонеты—бредъ идей и образовъ, которые несутся такъ стремительно, что вызываютъ головокруженіе. Его первая поэма „Венера и Адонисъ“—это чувственный экстазъ какого-то ненасытнаго и воспламененнаго Корреджіо. Такая невѣроятная плодовитость доводитъ до крайности и безъ того обостренныя качества и удесятяряетъ роскошь метафоръ, безсвязность слога и необузданную страстность выраженій\*).

Все это сводится къ одной чертѣ: предметы входили въ его мозгъ организованными и полными; черезъ нашъ-же они лишь проходятъ разрозненными, разъединенными, разстроеными, по кусочкамъ. Его умъ обнималъ цѣлое, мы-же обнимаемъ лишь частности; отсюда его слогъ и нашъ слогъ—два противоположныхъ языка. Мы, обыкновенные писатели и мыслители, мы можемъ обозначить отдѣльнымъ словомъ каждую изолированную часть идеи, и представить точный порядокъ ея частей такимъ-же точнымъ порядкомъ нашихъ выраженій, мы подвигаемся постепенно, слѣдуемъ связи идей, постоянно обращаемся къ основнымъ положеніямъ, пытаемся обходиться со словами, какъ съ цифрами, а съ фра-

---

\*) Вотъ почему въ глазахъ писателей 18-го вѣка слогъ Шекспира такъ темень, такъ надуть, такъ вымученъ, такъ грубъ и такъ нелѣпъ, какъ нигдѣ въ мірѣ.

замы, какъ съ уравненіями; мы употребляемъ выраженія общія, доступныя всякому уму и конструкціи правильныя, въ которыя всякій умъ можетъ вникнуть. И мы достигаемъ точности и ясности, но не жизни. Шекспиръ оставляетъ въ сторонѣ точность и ясность, но достигаетъ жизни. Изъ глубины своего полного пониманія и яркаго полуюсновидѣнія онъ выхватываетъ отрывокъ, какую-нибудь животрепещущую жилку и показываетъ ее вамъ; вы должны по этому осколку угадать цѣлое; за каждымъ словомъ скрывается картина, поза, длинное разсужденіе въ сокращенномъ видѣ, масса идей; вы ихъ знаете, эти сокращенныя и вмѣстѣ полныя слова. Это тѣ слова, которыя выкрикиваются въ пылу вдохновенія или въ порывѣ страсти, — ходячія и модныя выраженія, которыя вызываютъ въ васъ мѣстные и личныя воспомнанія\*), небольшія, отрывистыя, неправильныя фразы, которыя выражаютъ своей неправильностью порывы и переломы внутренняго чувства, тривіальныя слова, вычурныя фигуры (см. въ Гамлетѣ разговоръ Лаэрта съ сестрой и Полонія съ Лаэртомъ. Слогъ не соотвѣтствуетъ положенію и здѣсь видѣнъ наглядно естественный и непронзвольный пріемъ Шекспира). Подъ каждой изъ нихъ скрывается жестъ, внезапное нахмуриваніе бровей, закусываніе смѣющихся губъ, арлекинада или разстройство всего организма. Ни одна изъ фразъ не обозначаетъ идеи, но все онѣ воз-

\*) Словарь Шекспира самый полный изъ всѣхъ. Въ немъ около 15.000 сл., въ то время какъ у Мильтона всего 8000.

буждаютъ образы: каждая изъ нихъ есть крайность и выраженіе полнаго мимическаго дѣйствія, но ни одна не выражаетъ и не опредѣляетъ частной и ограниченной идеи. Вотъ почему Шекспиръ страшенъ и могуществененъ, темень и обладаетъ творческой способностью больше всѣхъ поэтовъ своего вѣка и всѣхъ другихъ вѣковъ; вотъ почему это поэтъ, наиболѣе невоздержный среди нарушителей чистоты языка, наиболѣе необыкновенный среди всѣхъ творцовъ душъ, наиболѣе далекій отъ правильной логики и классическаго разсудка, наиболѣе способный пробудить въ насъ цѣлый міръ формъ и вывести предъ нами во весь ростъ живыя лица.

